

«Нагорная проповедь» Достоевского

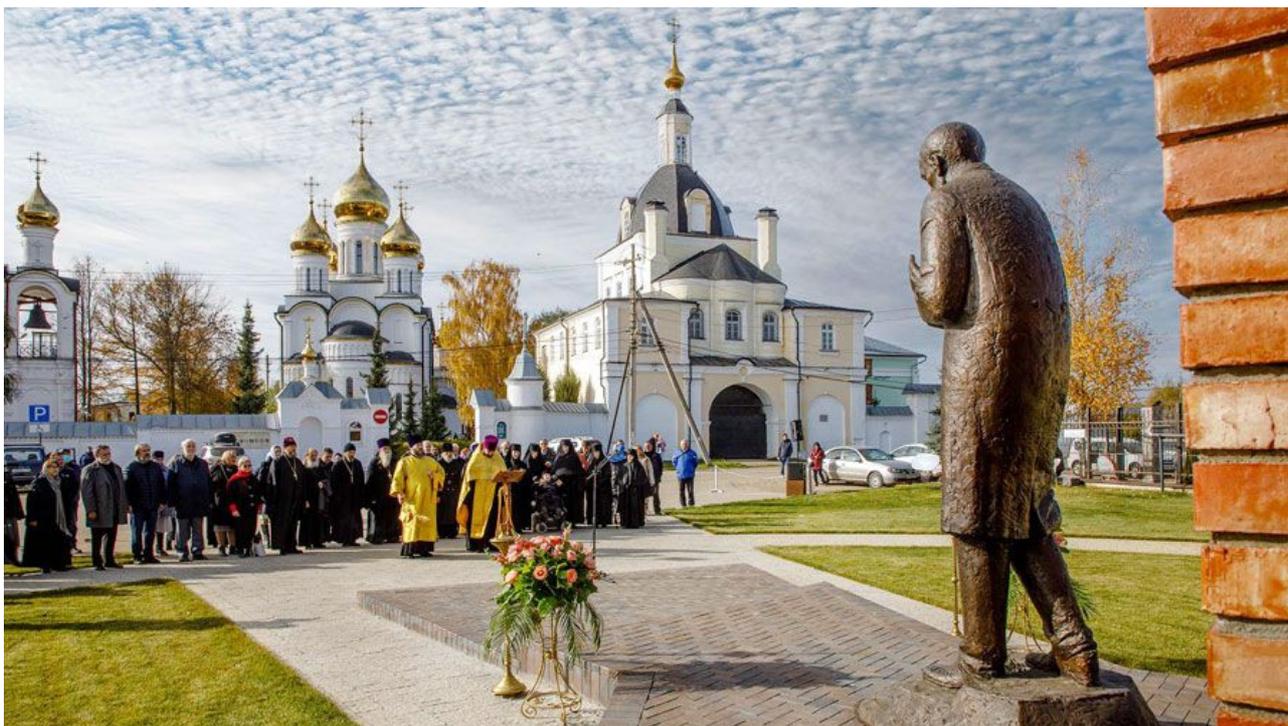


Фото: газета «Культура»

Вслед за переславским Свято-Никольским женским монастырем памятник Федору Михайловичу появится в мужском монастыре Оптиной пустыни, в котором писатель однажды побывал. «Как сообщил [у себя в Telegram-канале](#) Владимир Легойда, 22 июля “в одном из древнейших и прославленных монастырей Русской Церкви – Оптиной пустыни – [стартуют](#) «Дни Достоевского»”.

“В монастыре зложат камень в основание памятника Федору Михайловичу и состоится дискуссия о творчестве писателя, в которой примут участие общественные и политические деятели, деятели культуры, эксперты... Есть какая-то сложно определяемая и трудно вербализуемая, но от этого не менее прочная связь между расцветом русской литературы XIX века и расцветом Оптинского монастыря, эпохой Оптинского старчества. Широко известно, что многие русские писатели посещали монастырь и общались со старцами. Гоголь, Достоевский, Толстой... Каждый из них вынес из этого опыта что-то свое, в той мере, в какой сумел. Но то, что влияние было, – это бесспорно”,

– добавил глава Синодального отдела. Владимир Легойда выразил радость по поводу того, что

“в таком благословенном месте со временем появится памятник истинному мастеру пера, которому принадлежат слова: «Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовью лишь купим сердца детей

наших»...» (Журнал «Фома». [В Церкви рады, что в Оптиной пустыни появится памятник Федору Достоевскому](#)).

Иными словами, приведенные Председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ слова Достоевского и следует воспринимать как иллюстрацию того христианского «опыта», который, по мнению Владимира Легойды, писатель «вынес» из общения со святыми старцами; как яркий пример *«какой-то сложно определенной и трудно вербализуемой связи между расцветом русской литературы XIX века и расцветом Оптинского старчества»*. Эту неуловимую, но весьма «прочную связь» мы сейчас и попытаемся «вербализировать» ввиду того, что высокопоставленному церковному чиновнику, конечно, некогда заниматься такими делами. Его задача заключается только в том, чтобы бросать клич в церковную общественность, так сказать, указывать направление, в котором народ должен двигаться, вести за собой людей, как Моисей к обетованной земле.

Самая первая ассоциация, которая возникает с приведенными Легойдой наставлениями Достоевского, это, конечно, Евангелие. *«Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших»*. Вне всякого сомнения, это подражание стилю проповедей самого Христа. *«И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи»* (Мф 7:28-29). Та же самая властность повелительных наклонений чувствуется в «нагорной проповеди» Достоевского. Что в адекватном церковном человеке уже должно зарождалось изрядную долю сомнения в правильности умозаключения главы Синодального отдела РПЦ о «прочной связи» такого рода «духовного опыта» с «расцветом монашества». Старца Оптиной пустыни, проповедующего в манере Самого Христа (то есть, с сознанием недостижимой высоты своего положения относительно своих духовных абитуриентов), представить себе можно разве что после посещения какого-нибудь католического монастыря имени Франциска Ассизского в ходе экуменического «диалога» и обмена опытом... то есть, уже окончательно потеряв берега ортодоксии, попутав верх и низ, правое и левое, прошлое и будущее... Между тем именно в такой манере выдержаны проповеди старца Зосимы в романе «Братья Карамазовы», в образе которого Достоевский, по общему мнению исследователей, и изобразил одного из насельников Оптины. Собственно говоря, главы романа, в которых излагается учение Зосимы (часть вторая, книга шестая), это и есть первый текст, к которому мы интуитивно обращаемся в поисках источника приведенного Владимиром Легойдой фрагмента. Вот аналог для сравнения:

«Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите всё создание божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать всё далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже всецелою, всемирною любовью. Животных любите: им бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не

отнимайте у них радости, не противьтесь мысли божией. Человек, не возносись над животными: они безгрешны, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя — увя, почти всяк из нас! Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам» (Достоевский Ф. Братья Карамазовы. Из бесед и поучений старца Зосимы / Д., XIV, 289).

Между тем цитата, приведенная в качестве доказательства «неразрывности связи» русского старчества XIX в. и почвенничества Достоевского, обретается в другом его сочинении, а именно, в сдвоенном июльско-августовском номере «Дневника писателя» за 1877 г. Для Достоевского это периодическое издание было чем-то вроде нынешнего «Живого Журнала» для популярных блогеров, в котором он делился с подписчиками своими публицистическими мыслями и впечатлениями. И вот в первой главе указанного номера содержится история о судебном процессе над многодетными супругами Джунковскими, обвиняемыми в ненадлежащем исполнении своих родительских обязанностей и жестоком обращении со своими детьми. Сначала Достоевский подробно излагает фактическую сторону дела, а затем сочиняет «Фантастическую речь председателя суда». В этом нравоучительном эссе мы и находим источник интересующей нас цитаты. Иными словами, данную речь следует относить к числу художественных произведений Достоевского, которые он иногда помещал в своем публицистическом «Дневнике писателя» (другой пример – новелла «Сон Смешного Человека»).

В этом смысле провозглашённая Легойдой «неразрывность связи» художественного творчества Достоевского и «русского старчества», действительно, имеет место быть, с тем лишь уточнением, что это «оптинское старчество» тоже художественное, вымышленное Достоевским же, или «фантастическое» (в его терминологии), то есть, мифическое, похожее на оригинал не более чем «мадонны» Рафаэля – на канонический образ Пресвятой Богородицы. Тогда как для истинного русского монашества XIX в. (свт. Игнатия (Брянчанинова), свт. Феофана Затворника) это были просто романтические карикатуры на Христианство, грубые гностические эрзацы, сделанные руками (перьями и кистями) носителей противоположного евангельскому духа. В полной мере в этом можно убедиться, обратившись к тексту «Фантастической речи председателя суда», идентичной, повторим, «нагорной проповеди» Зосимы не только по стилю, но и по идеологии.

В обоих этих сочинениях Достоевский осуществляет одну и ту же почвенническую пропаганду «нравственного самосовершенствования», «самообработки» и «самовоскрешения» «погибшего человека» (все термины – Достоевского). В основе этого лжехристианского учения лежит гуманистическая антропология, суть которой, с богословской точки зрения, заключается в гностическом отрицании первородного греха, что постоянно здесь подчеркивается.

«Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы» (Из бесед и поучений старца Зосимы / Д., XIV, 289).

«Сердца эти не жестокие, а именно ленивые сердца» (Дело родителей Джунковских с родными детьми / Д.,XXV,185).

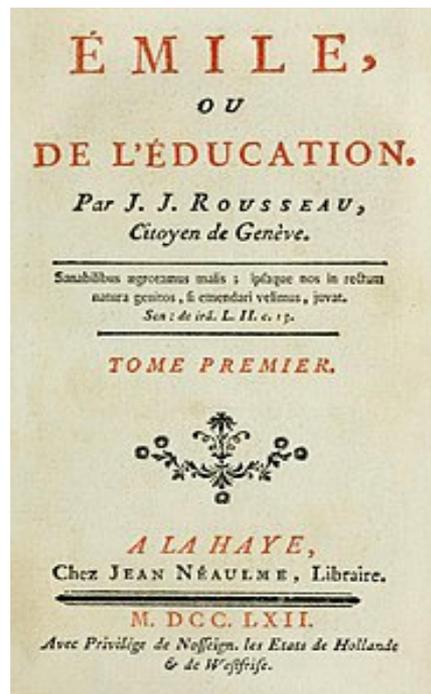
На основании этого ложного догмата религиозного гуманизма (безгрешности человеческой природы) делается ложный вывод гностической сотериологии о возможности постепенного самоисцеления нравственного существа человека путем воспитания и самовоспитания. Поэтому вера во всеислие педагогики стала навязчивой идеей той эпохи, начиная с Века Разума, или Просвещения, потому что это были именно гностические (то есть, «лжеименные» (1Тим 6:20)) «разум» и «просвещение». Как масоны «просветители» были одержимы сочинениями «нагорных проповедей», обращенных к «париям общества», потому что этого льстило их гностическому самомнению (или их «бесовской прелести» – в терминах русского старчества), и сентиментальные романы вроде «Эмиль, или О воспитании» Руссо были бестселлерами XVIII века, совершенно тем же самым занимался и «Жан-Жак» Достоевский на «русской почве», то есть, обольщал грешников квазибогословским лепетом о том, что они «невиноваты» в своих грехах, потому что их «среда заела» и т.д. и т.п.

«И не потому думает она так, что сердце у ней жестокое, нет, сердце у ней, может быть, весьма доброе и хорошее от природы, да вот покоя-то ей никак не дают, достигнуть-то его она всю жизнь не может...» (Дело родителей Джунковских с родными детьми / Д.,XXV,186).

«Разве я сама о тебе не мечтала? <...> давно мечтала <...> думаешь-думаешь, бывало-то, мечтаешь-мечтаешь, — и вот всё такого, как ты, воображала <...> что вдруг придет да и скажет: “Вы не виноваты, Настасья Филипповна, а я вас обожаю!”» (Идиот / Д.,VIII,144).

Нареченных магистров по «системе воспитания» в то время было столько же, сколько беллетристов, и каждый считал своим долгом перед потомками делиться с современниками своими глубокими познаниями в этой области, читая мораль обществу и человечеству, используя перо как трибуну для «народного просвещения».

«Человек рожденный с нежными чувствами одаренный сильным воображением, побуждаемый любочестием, изторгается из среды народная. Восходит на лобное место. Все взоры на него стремятся, все ожидают с нетерпением его произречения. Его же ожидает плескание рук или посмеяние горшее самая смерти» (Радищев А. Путешествие из Петербурга в Москву / Радищев А. Полн. собр. соч. Изд. Академии Наук СССР. Москва – Ленинград, 1938–1954. Т.1. С.387).



Титульный лист первого издания трактата Руссо «Эмил, или О воспитании»

Упорно как априорная истина насаждалась идея, что стоит только изменить общественные условия к лучшему и проявить личную инициативу в нравственной работе над собой, и все дурные привычки приобретенных пороков будут преодолены сначала передовыми личностями (такими как сами выдающиеся Просветители), а затем и всем человечеством, и воцарится «золотой век» гностического «царствия божия» на земле, потому что такова человеческая природа сама по себе (без влияния дурной внешней среды), идентичная ангельской.

«Вы объявили, что намерены теперь сами заняться воспитанием и обучением детей ваших: если б вы раньше взяли за это, то не было бы, вероятно, и сегодняшнего суда вашего здесь с детьми вашими» (Фантастической речи председателя суда / Д., XXV, 188).

Откуда такая уверенность? – Именно от убеждения в том, что непреодолимого врожденного греха в человеке нет. Так называемый клерикалами «грех» это не более чем дурная привычка, от которой можно избавиться тренингом, обратившись к «специалисту» по педагогике, который подберет подходящую именно вам «методику».

«...ненавидеть детей своих — вещь, в сущности почти неестественная, а потому невозможная» (Фантастической речи председателя суда / Д., XXV, 188).

Невозможность противоестественного как раз и означает небытие (нереальность, онтологическую мнимость, исторически преходящий характер) человеческой греховности. И поэтому

«братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле» (Из бесед

и поучений старца Зосимы / Д.,XIV,289).

В качестве реакции на это (как было сказано классиком жанра) полагались бурные и продолжительные аплодисменты «умиленных сердец».

«Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих» (Фантастической речи председателя суда / Д.,XXV,193).

Где искать любви безысходно эгоистичному эмпирическому человеку? – В собственном человеческом сердце, конечно, – отвечали хором оракулы этого «гнозиса» Руссо и Гюго, Достоевский и Толстой... Где же еще, раз природа человеческая сама по себе подобна не только ангельской, но и «божеской»... Иными словами, то, что в русском старчестве как таковом способна сделать только божественная благодать (а именно «переродить нас самих», исцелить падшую человеческую природу и сделать ее подобной божественной природе), в русской классической гностической литературе в лице Достоевского и Толстого властен осуществить сам Человек по своему природному «достоинству», по своим врожденным добродетелям как силам души. Стоит только духовно поднатужиться – так и поперет из тебя «любовь к ближнему».

«Будешь любить всякую вещь и тайну божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать всё далее и более, на всяк день» (Из бесед и поучений старца Зосимы / Д.,XIV,289).

Раз нет первородного греха (как виновности падшего человечества в отношении Бога как Судии), то нет греха и личного (как той же вульгарной «юридической» виновности восставшей каждой падшей твари перед своим Творцом, как учат дремучие «схоласты»). «Грех есть болезнь души», «нравственное повреждение», что стало догматом нового отечественного «старчества», уже действительно скованного одной цепью с гностицизмом Достоевского.

«Подсудимые, как сказано выше, были оправданы. Еще бы нет? И замечательно не то, что их оправдали, а то, что их предали под суд и судили. Кто и какой суд может обвинить их и за что? О, конечно, есть такой суд, который может их обвинить и ясно указать за что, но не уголовный же суд с присяжными заседателями, судящий по написанному закону. А в написанных законах нигде нет статьи, ставящей преступлением ленивое, неумелое и бессердечное отношение отцов к детям» (Дело родителей Джунковских с родными детьми / Д.,XXV,183).

«Подсудимые, вы оправданы, но вспомните, что кроме этого суда есть другой суд — суд собственной вашей совести. Сделайте же так, чтоб и этот суд оправдал вас, хотя бы впоследствии» (Фантастической речи председателя суда / Д.,XXV,188).

То есть, как это и положено в религии самоспасения, никто не властен судить Человека за беззакония нравственного порядка, кроме его самого. «Страшный суд» нового гностицизма – очная ставка «свободной личности» со своей «божественной» природой, нестерпимый стыд перед лицом должного

«человека с нежными чувствами, сильным воображением, побуждаемого любочестием». Поэтому «оправдание» на этом суде тождественно «спасению», означая «перерождение нас самих» выработанной душой «святой любовью».

«Ищите же любви и копите любовь в сердцах ваших. Любовь столь всесильна, что перерождает и нас самих. Любовь лишь купим сердца детей наших, а не одним лишь естественным правом над ними. Да и самая природа из всех обязанностей наших наиболее помогает нам в обязанностях перед детьми, сделав так, что детей нельзя не любить. Да и как не любить их? Если уже перестанем детей любить, то кого же после того мы сможем полюбить и что станется тогда с нами самими? вспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам “сократить времена и сроки”. Ради них сократится мучение перерождения человеческого общества в совершеннейшее. Да совершится же это совершенство и да закончатся наконец страдания и недоумения цивилизации нашей! А теперь ступайте, вы оправданы...» (Фантастической речи председателя суда / Д., XXV, 193).

Самым наглядным выражением «фантастичности» богословия Достоевского является вольное толкование Евангелия в этой тираде. В оригинале Христос говорит об «избранных», то есть, о Своей Церкви, о «малом стаде» (Лк 12:32) спасаемых в последние дни мира сего. «... и если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Мф 24:22). В романтической же экзегезе Достоевского (или в экзотерическом гностицизме почвенничества) это «малое стадо», напротив, исторически «эволюционирует» до размеров всего «человеческого общества», или становится тем самым «миром», которому Христос противопоставляет Своих «избранных». Поэтому в религии Достоевского оказываются «оправданы» именно те, кто осужден в Евангелии. «...и тогда соблазняются многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь» (Мф 24:10-12).

Показательно также и то, что сразу после очередной своей «фантастической речи» Достоевский в следующей главе того же номера «Дневника писателя» переходит к литературной педагогике Льва Толстого как своего коллеги по эпигонству в отношении французских просветителей. Последний, по его собственному признанию, в молодости носил на груди изображение Руссо в медальоне вместо нательного креста, то есть, как гностическую святыню, или (в той же терминологии Легойды) в качестве «какой-то сложно определенной, но от этого не менее прочной связи между расцветом гуманистической литературы и расцветом» псевдопатристики современного периода церковной истории.

Но поскольку первородный грех все-таки существует, вопреки догматам религиозного гуманизма, в реальной жизни сами гуманисты-просветители были полной противоположностью того учения, которое проповедовали и следуя которому другие должны были «нравственно развиваться» до ангельского состояния. В частности, первоверховный педагог Руссо сам не

воспитывал ни одного из своих пятерых детей, сдав их оптом в приют. А певец «божеской любви» Достоевский, по свидетельству близко знавшего его Николая Страхова, «как Руссо, считал себя лучшим из людей, и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: “Я ведь тоже человек!”. Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о правах человека. Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости» (Страхов Н.Н. – Толстому Л.Н. (28.11.1883). «Современный мир», 1913. №10. Цит. по изд.: Л.Н.Толстой и Н.Н. Страхов. Полное собрание переписки. Т.II. Группа славянских исследований при Оттавском университете и Государственный музей Л. Н. Толстого, 2003).

Как и в романе Достоевского, в трактате Руссо есть «теологическая» часть под названием «Исповедание веры савойского викария», в которой он изложил свои собственные еретические воззрения от лица вымышленного героя.

«Этот честный церковнослужитель был бедным савойским викарием, который вследствие одного юношеского приключения не поладил со своим епископом и перебрался через горы искать средств, которых не хватало на родине <...> иной раз он одобрял догматы, противоположные догматам римской церкви, и, по-видимому, не очень уважительно относился ко всем ее обрядам» (Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. Кн.IV. Цит. по изд.: Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или О воспитании. М., «Педагогика», 1981).

Иными словами, этот католический «викарий» был протестантом в душе, причем самого радикального толка. Поэтому даже в Париже того революционного времени роман Руссо был запрещен за подобную «теологию», а в России был впервые опубликован в 1866 г. без этой скандальной части. Нечто подобное, напомним, произошло с отдельным изданием «учений Зосимы», которое Достоевский как всякий «развиватель человечества» (Д.,XX,174) рассматривал как умеющее огромное значение в деле «сокращения апокалиптических сроков». По свидетельству Константина Леонтьева, оно было запрещено к изданию церковной цензурой того времени. «А когда Достоевский напечатал свои надежды на земное торжество христианства в "Братьях Карамазовых", то оптинские иеромонахи, смеясь, спрашивали друг у друга: "Уже не вы ли, отец такой-то, так думаете?" Духовная же цензура наша прямо запретила особое издание учения от Зосимы, и нашей было предписано сделать то же. ("Ибо, – сказано было, – это может подать повод к новой ереси")» (Леонтьев К.Н. – Фуделю И.И. 29.01.1891 / Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем в 20-и томах. СПб, изд. «Владимир Даль», 2012. Приложение, кн.1. С.288). Толстой же за аналогичное религиозное вольнодумство, в конце концов, был и вовсе отлучен от Церкви. Теперь же времена настолько изменились, что многое в Русской Церкви буквально перевернулось с ног на голову.

Александр Буздалов